

Бруно Шульц Свидетель первых дней, или ИДУЩИЙ в НОЧИ

"Определять — значит не доверять"

Лоренс Стерн. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена

"Неназванное не существует для нас"

Бруно Шульц. Мифологизация действительности¹

Жизнь земная и последующая

Он свидетель, он родом из самых первых наших времен, когда все было чистым, и только что завершились последние дни творенья. Он запомнил и то, о чем Бог не говорил. Неясно, как он попал именно в это время и в эти страшные места, то ли затерявшись в неведомых нам пространствах вселенной, то ли посланный к нам специально, именно к нам, чтобы оставить чувственную память обо всем происшедшем тогда, о двух этих мировых бойнях, о Катастрофе, свидетелем и участником которой он стал... Ведь свидетель это предупреждение!

Это имя — Бруно Шульц — странное имя, я никак не могу к нему привыкнуть, — оно как псевдоним в маскараде. В чужом мире и празднике, который к нам не относился изначально. Не разглядеть, кто это, не понять. И в текстах его, немногих сохранившихся, нет чувства национальной принадлежности, разве что к людям, к которым он принадлежал неосторожно, и краткая биографическая справка построена была странно, — только в самом ее конце, где в нескольких строчках сказано, что он попал в гетто, и как его там убили, я понял, кто были его родители.

Я не уверен, был ли он сам для себя евреем. Но те, кто его убил, в этом для себя не ошибались.

Он родился и прожил жизнь в Дрогобыче, который был тогда в составе Австро-Венгрии, затем Польши, потом у нас в советской империи и теперь в Западной Украине. Родился в 1892 году и погиб 19 ноября 1942 года, когда гестаповцы и фашистская украинская милиция провели "черный четверг" — массовый еврейский погром в дрогобычском гетто. Его застре-

¹Бруно Шульц. Трактат о Манекенах. Собрание прозы в переводе Леонида Цывьяна. Санкт-Петербург, 2000

лили, как и 264-х евреев Дрогобыча. Там даже указано имя застрелившего — Гюнтер, — как щелчок затвора, перед выстрелом в упор. И всякие версии его гибели я читал, но это неважно, — он не мог не погибнуть — он ведь был свидетель.

У его отца, Иакова Шульца, был мануфактурный магазин в Дрогобыче, на рыночной площади. Бруно с отличием закончил местную гимназию в 1910 году и стал студентом строительного факультета Львовского политехнического университета (теперь там есть портреты Симона Петлюры и Степана Бандеры, и там никогда не будет памятной доски Бруно Шульца). Параллельно он учился в Венской академии художеств, по отделению архитектуры, но после смерти отца в 1915 году и разорения семьи учебу пришлось бросить. Бруно зарабатывал на жизнь, рисуя портреты и графику, — литература, а к этому времени он стал известным уже писателем, не кормила, а на руках была мать и вдовья сестра с двумя детьми. В 1924 году он получил должность учителя рисования и ручного труда в дрогобычской гимназии и работал там семнадцать лет — до дня, когда в Дрогобыч вошли немцы, и он попал в гетто. Он был хорошим преподавателем, и дети его любили.

Бруно в Вене учился живописи, он работал как экспрессионист, в течение, которым тогда была захвачена Европа, и особенно Германия². В экспрессионизм, как в зеркало, смотрелся оскаленный череп Первой вселенской войны и из зеркала выступали черты грядущей Второй бойни. Время было насыщено страстным желанием жить, и гнала его вперед колесница смерти. В те годы в Вене было много таких молодых людей, мечтавших о славе художника, и среди них такой же художник с напряженными чертами лица австриец Адольф Шикельгрубер. Почему бы провидению не даровать Адольфу талант живописца, о котором он так мечтал, — и не озлоблять его насмешливыми отзывами еврейской живописной профессуры? Возможно они, Бруно и Адольф, встречались в этой Венской академии...

В 1928 году на персональной выставке Шульца в Трускавце его работы, близкие по духу львовянину Леопольду фон Захер-Мазоху, были восприняты как порнография (скандальный цикл графики "Идолопоклонническая книга"), и выставка была закрыта. Женщины на полотнах Бруно были властны и недоступны, а мужчины покорны и послушны. Большинство исследователей считают, что Шулец был мазохистом. Это, видимо, и помешало его браку с единственной женщиной в его жизни, роман

² Странно, но для меня тексты Бруно своей сдержанной красочностью и размытыми переходами более всего близки к работам Пюви де Шаванна (Прим. автора)

с которой длился целых три года, Юзефиной Шелинской, и ради которой он оставил еврейскую общину.

Большинство его картин пропало. Роман "Мессия" не был завершен.

В 1933 году вышла первая тоненькая книжка Бруно "Коричные лавочки", а в 1936 году вторая — "Санаторий под Клепсидрой". В 1938 он был удостоен престижной премии — Золотого лаврового венка — Польской академии литературы. Он стал известен в Европе, но в Дрогобыче никто об этом не узнал ни тогда, ни сегодня. Перед самой войной он побывал в Париже, три недели, он мог там вполне и остаться, но тоска по Дрогобычу и зов судьбы вернули его домой.

Короткое советское время его жизни началось в 1939 году. Он пытался публиковаться, теперь уже в СССР, но ему ответили на присланную рукопись, что не нуждаются в новых Прустах. Он рисовал для заработка плакаты и лозунги и, говорят, однажды даже громадный портрет Сталина, который, поскольку работал Бруно гуашью, смыло дождем. Однажды его обвинили даже в украинском буржуазном национализме, поскольку он использовал желто-голубую гамму красок. Он попал бы в советский лагерь, но судьбе было угодно убить его как еврея.

С приходом немцев он попал в гетто. 19 ноября 1942 года Бруно Шульц вышел из убежища, чтобы взять в еврейской управе пайку хлеба на дорогу, — польские друзья достали ему документы и помогли бежать в Варшаву, откуда планировали переправить за границы Рейха. Началась стрельба, и он остановился у столба, которыми было огорожено гетто, на границе пустыря, который через несколько лет станет парком, где сегодня стоит памятник Степану Бандере. Пуля вошла Бруно в затылок. Тело его лежало посреди улицы, пока его не убрали и не бросили в общую могилу на окраине Дрогобыча.

Существует легенда, что перед смертью Бруно достал хлебные крошки из кармана пальто и швырнул их голубям. Было ему ровно 50 лет.

На небольшой книжке, единственном, что есть у меня, на обложке задней, есть его фото. Лучшее из известных мне. Он сидит на какой-то скамье, худощавый человек, о росте его я судить не могу, но видимо, он был невысоким. Очень элегантный, в костюме по моде предвоенных тамошних и наших послевоенных лет, такой костюм носил мой отец — приталенный пиджак, подкладные плечи, широкие штанины брюк. В кармашке пиджака платочек. Галстук скреплен булавкой. В западной Украине в те годы так одевалась интеллигенция, и еще носили жилеты

и к ним шляпы. Костюм пошит из материала в полосочку, и видно, что это хороший материал.

Элегантным он был всегда, на всех фотографиях и автопортретах, он и в гетто остался элегантным, во всем, как одевался и как продолжал жить, как и о чем писал письма. Границу жизни он переступил незаметно, как однажды это сделал Мессия в одном из его рассказов. Но рассказывал он всегда только о себе.

Лицо с тонкими нервными чертами и руки очень нервны, выразительны. Он закинул ногу на ногу и так сидит, а левой рукой он обхватил свое колено. Правая лежит на какой-то то ли книге, то ли газете, раскрытой, лежащей у него на коленях. Чувство, что он писал прямо перед этим моментом снимка и поднял внезапно глаза на снимающего — он еще там остался, в мысли и тексте... Это видно во взгляде и в том, как поджаты губы, это как бы улыбка, но на самом деле там прерванная читается мысль, а в такой складке губ — всегдашнее удивление миру.

Скорее нам, не видящим ничего...

На этом фотографическом фоне идет текст, там написано, что он "выдающийся польский писатель, классик литературы XX века". Насчет польского мне неясно из его текстов, где там Польша, а то, что классик — это видно в его лице, — это можно понять, ничего не читая. Эта фотография дана на каком-то фиолетовом гигиеническом фоне, смазана, но взгляд его — он как бы вглядывается в свое предстоящее, видит себя там, 19 ноября, и меня здесь, и мне его глаза смотрят в душу, безотрывно.

На что бы он там ни смотрел — он видел иное и даже, сев на эту скамью с ним рядом, допустив такую возможность и наклонившись, посмотреть на то, что он сейчас разглядывает на этом снимке, — нам не удастся это разглядеть — это следует из его слов, из того, как он описал виденное им в этом Дрогобыче.

Если бы он уцелел, — я не могу представить себе, о чем бы он мог писать!

Дрогобычу свыше 900 лет. Стоит он на границах Центральной и Восточной Европы, в Галиции, на рубежах великих империй. Его называли "полтора города" по трем составляющим населения — украинского, польского и еврейского. Евреи там поселились в веке XIV-м. Там были узкие крутые улочки, древние крепостные башни, стоял костел и церкви Воздвижения и св. Юры, как принято называть Георгия Победоносца в Западной Украине, много маленьких синагог, лепились цепочкой по склонам

улиц еврейские домики, как дети, взявшиеся за руки на крутом спуске, чтобы не упасть, молились в них по вечерам и субботам евреи.

Домики были двухэтажны, с высокой двускатной кровлей, как и родительский дом Бруно, в три-пять окон по фасаду, в первом этаже помещалась лавка с вывесками по всем стенам, над окнами и входной дверью и вертикальными между окон, в центре второго этажа висел уличный балкон. Над городом высились колокольни храмов, на всех основных углах и площадях. Вероятно, Дрогобыч стоит и сейчас, и есть там рыночная эта площадь и, возможно, на ней сохранился магазин отца Бруно. Наверное, там стоит и здание гимназии.

"То были забытые в глубинах времени городки, где люди были привязаны к своим крохотным судьбам и не отрывались от них ни на минуту. Сапожник там был всецело сапожником, от него пахло кожей, у него было мелкое невыразительное лицо, близорукие блеклые глаза над бесцветными висячими усами, и чувствовал он себя насквозь сапожником. И если они не страдали от чирьев, если не ломило кости, не сваливала в постель водянка, они были счастливы тусклым серым счастьем, курили дешевый табак, желтый кайзеровско-королевский табак, либо тупо мечтали перед таблицей лотереи".

В Дрогобыче о Бруно ничего и никто не знает. То есть теперь-то, конечно, знают. Там пропали настенные росписи, сказочные росписи, которые Бруно в 1942 году сделал по приказу бывшего столяра из Вены, а тогда повелителя местных евреев, гестаповца Феликса Ландау, для его малолетних детей, в их спальне³. Там изображены гномы, лошади, сказочная королева (похожая на Юзефину, невесту Бруно) и сам Бруно, как извозчик фантазмагорических дрожek. Он в высоком цилиндре, а лошади грациозны и имеют удивленный вид. Он часто так себя рисовал — в городе легко узнается Дрогобыч, потому что все главное в мире происходит только в Дрогобыче, стоят дома и уличные перекрестки, идут обыватели, кутаясь от холода и страха в свои одежды, и по булыжнику мостовой, из-за поворота улицы, выезжает карета со странным кучером, посланная к нам,

³Он, Феликс Ландау, любил своих детей и приказал Бруно нарисовать им сказки из братьев Grimm, он целовал головки детей, пришедших утром поздороваться с отцом, а затем выходил на балкон и шутки ради, для тренировки глаза, стрелял в работавших под балконом еврейских девушек и, застрелив их, смеясь, возвращался в комнату, к своим детям. Это отличное немецкое свойство, разумно разграничивать мир и знать наверняка, где в нем правильное, и чем следует, как мелочью, пренебречь. Немецкий концлагерь немислим и аморален без унификации всех отходов работы — одежды, волос, детских игрушек, пепла из печи как лучшего из удобрений для почвы, на которой вырастут поразительной красоты розы. Такой подход к явлениям жизни естественно вытекает из немецкого характера (Прим. автора)

в наш будничный день то ли подсмотреть, то ли наконец сообщить самую важную весть. И еще там есть сказочный лес — Бруно нарисовал лес в Бронике, неподалеку от Дрогобыча, где евреев заставили вырыть яму и расстреляли. Он знал об этом, когда рисовал, где и как это было. По приказу Ландау Бруно расписывал стены казино гестапо и школы верховой езды, но эти росписи не уцелели. Каждый день рисования продлевал на день ему жизнь.

И 60 лет никто о Бруно на Украине не вспоминал вовсе, о писателе и художнике, восстановленном из небытия Европой, поставившей его на высотах своей и мировой литературы рядом с Прустом и Кафкой и своей живописи рядом с Мунком и Франциско Гойей, а теперь вспомнили и заговорили. Собственно, это не разговор — это галдеж. Росписи эти 60 лет жили забеленными на стенах коммуналки, в каком-то чулане, и если бы не заезжие исследователи немцы, они так и пропали бы навсегда. Теперь это наше национальное достояние, без которого жить нам в Галиции невозможно.

Беньямин и Кристиан Гейслеры из Германии в феврале 2001 года нашли росписи Бруно на вилле Ландау и сняли фильм "Найти картины", о Дрогобыче, о поисках этой росписи. Презентация фильма прошла в Нью-Йорке. Проза Бруно издана на всех европейских языках, он получил посмертную премию во Франции за лучшую книгу иноязычного писателя и приз Каннского кинофестиваля за фильм по его повести "Санаторий под Клепсидрой". О его творчестве писали самые известные писатели мира.

В Польше Бруно Шульц великий национальный писатель. Я даже где-то прочел раздраженные слова одного поляка, что Бруно еврей только по случайности своего рождения. Случайностью происхождения был его польский язык. Случайно можно родиться кем угодно, но не евреем. Это отметка Бога, и это подтверждено Катастрофой.

Даже установили теперь в Дрогобыче памятную доску на волне сенсации и скандала⁴. Насчет доски я не уверен, что это на пользу дела, — в Галиции мало любят евреев. Если мир людей знает о Дрогобыче, это благодаря Бруно, что он там жил. Бруно создал Дрогобыч и рассказал о нем то, что никто не знал, и теперь знающих не осталось — об Атлантиде...

Это единственный продолжающий жить на земле Дрогобыч. Вечный.

От города же ничего не осталось, пыль и бурьян, сначала не стало людей, а потом разрушились камни...

⁴"Здесь проживал еврейский писатель и художник, мастер польского слова Бруно Шульц"

Впрочем, как и вся известная человечеству география Галиции, — мир знает Бучач, потому что там родился Шмуэль Иосеф Агнон. Галиция — родина двух Нобелевских лауреатов, а если третьим не стал Бруно, так он просто не дожил — он и не считывал статью!

"Этого Бог не говорил" **Мессия, неосторожно сошедший к нам**

Он писал на польском.

"Неназванное не существует для нас". Мы о нем знаем, мы знаем, что оно, неназванное, и есть большинство в мире, что оно основное в нем, но мы его исключаем из памяти в самом начале своего бытия, нацело, и ограничиваем свой мир только "обозначенными углами", и иного уже не видим. Это границы в психике — увидев, это мы знаем точно, увидев — мы умрем. "Узревший Бога — умрет" — и мы построили храмы, и имя Бога затаскали в суетности слов только с одной целью — больше его никогда не видеть. Для нас оставшийся мир — это названное, определенное словом, регламентированное и расставленное по углам шкафами и лампами, по улице — вдоль — домами и перекрестками. В учебниках — законами природы. Как будто бы она сама или кто-то, ее работник, сидел и выводил эти формулы, и потом прятал, чтобы мы их открыли в свое время. Дерево для нас — дерево, это ствол и ветви, и иногда листья, а в иное время без них, это все, что мы от него себе оставили, а страшную тайну, что оно живое, растущее, видящее нас и нас трогающее в любопытстве своими руками-ветками, этого мы не знаем. Мы его больше не слышим. Оно с нами говорило, с Адамом, но теперь мы стали считать его неодушевленным предметом. Его можно взять и спилить, и наделать из ствола бревен, и сделать костер, вновь вернув его, дерево, к первоначальной сути — огню, пришедшему к нам с небес.

И что есть огонь, мы тоже не знаем, — огонь для нас это способ приготовить манную кашу нашего бытия и так укрепить здоровье.

Мы определили все, всюду наклеили ярлыки, чтобы не пугаться, чтобы больше не жить в этом ужасе, и перестали доверять всему остальному... Мы его, бушующего, стремящегося, переливающегося вокруг нас, многоцветного — не видим. Мы утратили зрение. Это как шоры у лошади — так ей спокойнее видеть дорогу.

Он был невысокий, маленький, худенький. Он был еврей, и евреи никогда, на каком бы языке и какие бы университеты они ни оканчивали,

и кто бы и что бы о них ни говорил уважительно — евреи об этом помнят. Это клеймо. Тавро, наложенное Богом, и его не избыть. Он был изгой в среде жизни, которой устойчиво жил окружающий мир, и особенно женский, наиболее устойчивый в мире материи, потому что они ее суть, суть земли, суть черных земных недр, и он мог, как все мы, утешиться видимостью оставленного нами — людьми — для себя жалкого клочка мира...

"Меня учили: крыша — это крыша.
Груб табурет. Убит подошвой пол,
Ты должен видеть, понимать и слышать,
На мир облокотиться, как на стол"⁵

Так учили евреи своих детей, но он не смог научиться, это не его заслуга, просто что-то не заросло в нем, как темечко ребенка, которое зарастает у всех, что-то в нем не закрылось на путях вхождения в мир взрослых.

Он ничего не выдумал, просто он не стал закрывать глаз. И стал видеть. Не что-то особенное и особое, но стал видеть все это так, как мы уже не можем, как видели его самые дальние наши предки, когда создавали эту выгородку в многоцветии мира, этот забор, за который нам осталось разве подглядывать, тут же отводя глаз и успокаивая его на привычном, — он стал видеть мир таким, как он есть на самом деле, не обрезки бытия, но все целиком, не построенное в твердом порядке, не лишённое цвета, — но как есть.

То, что он нам рассказал, не страшно, оно первоначально отторгающе непонятно, потом, когда привыкает глаз, оно тихо входит в душу разногласицей вместо привычного серого и мертвенного фона наших дней. Какая разница, что вы жили и живете в Париже, это в Дрогобыче вы живете, сером и обыденном, в его дождливых утрах вы там собираетесь на обыденную осто.....щую работу, вы обнимаете перед сном женщину только затем, чтобы сбросить в нее святую жажду узнавания мира, чтобы отпустило душу, отпустил этот узел, внезапно сжимающий горло...

Но эта женщина не менее сложна, чем дерево, встретившее вас на углу улицы...

В этом мире не летают птицы, они не срываются с комодов и шкафов, и с люстр, не "разбивают воздух на колоды магических карт", в этом мире никогда-никогда-никогда не будет такого дня, не будет видения на цент-

⁵Эдуард Багрицкий. Происхождение. Он тоже это почувствовал, но дальше не пошел, вернувшись к своим. Это чувство — зов древней крови, еще оставшийся у представителей великих народов древности, живущих меж нами, новыми поселенцами земли (Прим. автора)

ральной площади занюханного Дрогобыча с его занюханными обывателями, какими они были тогда, во времена Бруно, и будут завтра, в самом далеком своем завтрашнем дне, не будет там больше такого дня, когда Мессия, зачарованный красотой этой площади, забывшись от этой красоты и ею покоренный, переступит порог видимого нашего мира, оказавшись среди нас, где его никто не ждет:

"Мы с тобой сейчас одни на всем рынке. Я и ты, — тихо произнес он с грустной улыбкой. — Как пуст сегодня мир...

Мы могли бы поделить его и назвать по-новому — до того открытый, беззащитный и ничей лежал он перед нами. В такой день Мессия подходит к самому краю горизонта и оттуда смотрит на землю. И когда он видит ее — белую, тихую, в синеве и задумчивости — может случиться, что в глазах у него исчезнет граница, голубоватые полосы облаков улягутся тропею, и он, не ведая, что делает, сойдет на землю. А земля в своей задумчивости даже не заметит того, кто сошел на ее дороги, и люди, пробудясь после послеобеденного сна, ничего не будут помнить. Вся история окажется словно бы стерта из памяти, и будет как в прадревние времена до начала ее".

Так случилось однажды, и на площади Дрогобыча этим утром, на беззащитной этой площади у собора и рынка, пустой от людей, где остались в тот час только птицы на крышах окружающих площадь зданий, только коты и собаки, замершие в подворотнях, все притихшие и замороженные происходящим (все званые — кроме людей), Бруно вышел из первого этажа своей комнаты, тихо ступил на древние уличные плиты и пошел по ним — и в ее центре, в месте, где тень колокольни легла указующей стрелой, где кончалась эта стрела от опрокинутой на площадь колокольни, они встретились и тихо стали друг перед другом, Мессия и человек со странным именем Бруно, и так стояли без слов — и когда кончили говорить, Бруно повернулся и пошел к своим дверям, только на самом пороге обернувшись в надежде, — но уже не было в мире надежды — пустой и навсегда осиротевшей лежала перед ним площадь Дрогобыча...

Какая разница, что это случилось в Дрогобыче, галицийском задворке, — Капернаум был меньше размером и большей провинцией, чем этот Дрогобыч, но то, что случилось там, случилось ведь не в Иерусалиме, куда Иисус вообще идти не хотел, но его вынудили ученики.

("Франц Иосиф I по сути дела был могущественным и унылым демиургом. Его крохотные, тупые, как пуговицы, глазки, сидящие в треугольных дельтах морщин, не были глазами человека... В тот момент, когда он, отдавая честь, появился на мировой сцене, мир в своем развитии дошел до некой счастливой границы. Все формы, исчерпав свое содержание

в бесконечных метаморфозах, свободно висели на вещах, наполовину спелушившись, готовые окончательно спасть. Мир энергично раскукливался, проклеивался юными щебетливыми неслыханными цветами, счастливо разрешался во всех узлах и перегибах. Еще немного, и карта мира, это полотнище, все в заплатках и красках, трепеща, исполненная вдохновения, взлетела бы в воздух... Но могущественный этот демон возлег всей своей тяжестью на предметы и явления и задержал взлет мира¹⁶.)

То, что случилось потом, войны, первая, неоконченная, и ее продолжение — вторая, гибель и разрушение мира, лагеря и ямы, и печи — все это стало неотвратимым, продуманным кем-то распорядком действий, но началось оно в этот день и час, на этой полуденной и залитой солнечным теплом и тишиной площади.

Я не знаю, была ли в Капернауме площадь, — в Дрогобыче она была и существовала считанные эти мгновенья их встречи. Я знаю — такой площади больше нам не создать.

Как пуст сегодня мир...

Запечатанный мир — бал Манекенов

Он создавал мир из ничего, из космоса небытия. Ахматова сказала об истоках поэзии, от чего отталкивается творец, — от мусора и сора реальности — это правда, в самых сумасшедших своих фантазиях поэт исходит из картины знакомого мира. Из ничего творил только Господь, в первые дни творенья. Первозданность и чистоту мира, им сотворенного, мы чувствуем в детстве, и это делает нас людьми, но на путях взросления, доверяясь взрослым, мы утрачиваем это целебное чувство. Бруно его сохранил, и невозможно понять, как это с ним произошло. Он продолжал жить в чистоте начального мира людей, выросши в нем и видя — чем и как живут остальные... Но кроме привычного он чувствовал что-то еще, лежащее за границами дней творенья, неостребованное, не вошедшее в состав нашего, оставленного нами для себя клочка мира.

"Этого Бог не говорил... Шесть дней творенья были Божьими и светлыми. Но на седьмой день Он почувствовал под руками чужую материю и, испуганный, отнял руки от мира... О Иосиф, берегись седьмого дня..."¹⁷

Не уберется — в его Трактате о Манекенах на самом деле продолжение Торы, того, что было создано в седьмой день и среди нас существует. Он

¹⁶Бруно Шульц. Весна

¹⁷Бруно Шульц. Гениальная эпоха

стал Демиургом, и не его вина, что материал, из которого он нас лепил, был чужой материей.

Этот мир существует, — неназванный, не видимый нами, заключенный мир. "Что можно делать в таком мире? Как не разувериться, не пасть духом, если все замкнуто, наглухо замуровано над собственным смыслом и всюду только стучишь по кирпичу, как в тюремную стену?"

"Непрожитая жизнь терзалась, мучалась в отчаянии, металась, как кошка в клетке. В теле Додо, теле слабоумного, кто-то старел без переживаний, кто-то, не обладающий ни каплей сущности, созревал до смерти... И вдруг в темноте Додо страшно зарыдал. Тетя Ретиция слетела с кровати, бросилась к нему.

— Что с тобой, Додо? Что у тебя болит?

Додо с удивлением повернул к ней голову.

— Кто? — спросил он.

— Почему ты стонал? — не отступала тетя Ретиция.

— Это не я, это он...

— Кто он?

— Замурованный..."

Мир живых существ, обездоленных на земле, лишенных первоначально правильных имен. "Моя комната была границей и рогаткой. Здесь останавливались, толпились, умоляюще мыча, кружили, тревожно и дико топтались на месте — горбатые и рогатые существа, заключенные во все костюмы и доспехи зоологии, и, преугавшиеся самих себя, они смотрели тревожными удивленными глазами сквозь отверстия в своих косматых шкурах, жалобно мычали, словно под масками пасти у них были заткнуты кляпами... Ждали ли они, чтобы я их назвал, разрешил их загадку, которую они не могли постичь? Спрашивали ли у меня свои имена, чтобы войти в них и заполнить своей сущностью?"

"Ни о чем не нужно говорить,

Ничему не следует учить,

И печальна так и хороша

Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,

Не умеет вовсе говорить

И плывет дельфином молодым

По седым пучинам мировым"

Это слова Осипа Манделштама, он ближе к истине, и истина в том, что мы — хуже.

"...За раком плыла голая лягушка. "Почему ты всегда голая, — спросил ее рак, — как тебе не стыдно?" — "Здесь нечего нет стыдного — ответила лягушка. — Зачем нам стыдиться своего хорошего тела, данного нам природой, когда мы не стыдимся своих мерзких поступков, созданных нами самими?"

А это Даниил Хармс. Мы не лучше — знаем ли мы правильные свои имена? И свои истоки?

"Ибо только наверху, на свету — это надо сказать хотя бы раз — мы являемся трепещущим артикулированным пучком мелодий, светоносной жавороночьей высотой; в глубине же рассыпаемся бормотанием, шумом, близостью нескончаемых историй".

Мы рождены этой глубиной и питаемся ее материнскими соками...

Вот бал, и на балу, в свете тысячи ламп, танцующие, пришедшие на праздник, без которого так невыносима жизнь. Танцуют одни манекены — на них роскошь бальных платьев и туфельки на высоких каблуках, и платочек в руке... танцуют они с минимальным жестом, кружатся на месте (и развеваются платья), плывут над паркетом бальной залы манекены (это наши национальные русские танцы, неподвижное тело, не видно семенящих ног, плывет платье-колокол, нежно и мягко, березкой, утратившей корни), и только рука вздрагивает скупым упрощенным жестом — но и этого жеста вполне хватает...

Насчет женщин он не обольщался — в теории манекенов он сказал о девушках-швехах, "стройненьких и тоненьких, похожих чем-то на катушки, с которых они сматывали нитки... — Ведь в них было все. В них был переизбыток всего. Ах, им хватало даже набитого опилками Пьеро, двух-трех слов, которых они так давно ждут, чтобы начать играть свою роль, давно приготовленную, давно просящуюся на уста, полную страшной и сладкой горечи, стремительно проносающуюся, как страницы романа, который глотают ночью, вместе со слезами, что струятся по жарким щекам".

Настоящая женщина — чтобы ее сотворить, надо взять живую из плоти и крови и одеть ее в платье и туфли на высоком каблуке ("понимаешь ли ты чудовищный цинизм этого символа на ноге женщины, провокаторский вызов ее разнузданной походки на этих высоких каблуках?"), и затем убрать, удалить из этих одежд женское тело, заменив пустотой и сохранив форму, подлинную, и придать руке жест, и ноге движение походки, и платью — чувство взволнованного движения.

И между плывущими в танце суетятся, крутятся вокруг, приседая

и протискиваясь в оставленные щели мужские манекены — набитые опилками Пьеро...

У нас был и есть свой "Трактат о Манекенах" — это "Мертвые души" Гоголя и это его "Шинель", лучшее, что он создал. В "Мертвых душах" они все мертвые, его герои первой и последней части поэмы, и даже не так, — заключенные в себе, "запечатанные" самим Гоголем, заколоченные в такие сибирские снега и сугробы, что не разгрести, но больше того, не услышать последнего стога, — нашим Гоголем — великим Демиургом мелочного мира. Они не могут вырваться, сорвать эту печать, и только стоном или странной внезапно речью, как криком заключенного внутри манекена живого существа, наглухо замурованного, они пытаются нам сообщить самое важное, главное в себе и в нас. Докричаться.

Но как прекрасен живой мир природы, в котором двигаются эти жалкие манекены! Величие природы, великая симфония красоты мироздания, от подземных недр и корней, и червяков, до небес, и посреди этого мира — все живое и мы, самые странные и жалкие в нем.

Такая гармония мира — и мелочность человеческого бытия!

Они оба, Николай Гоголь и Бруно Шульц, были Демиургами, и люди на страницах их книг — маленькие марионетки, но сострадание к ним обращено и на нас, оставшихся жить. Это как фотография, свое лицо, постаревшие черты, морщины у глаз, как строки историй и тени бессонных ночей, грустных испуганных и напряженных глаз, но что-то хорошее и ласковое хочется сказать этому собственному портрету, пожалеть его, попавшего на этот снимок, и чем-то утешить. Как ствол дерева обрастает годичными кольцами, и каждое из них матерееет, и покрывается корой, так и мы... но там внутри остается тоненький стебелек, каким мы были когда-то, — только ему не пробиться наружу — не докричаться!

Гоголь своего Пьеро назвал Хлестаковым. А в женщинах был переизбыток всего, и им хватало даже набитого опилками такого Пьеро, двух-трех его слов, которых они так давно ждут, чтобы начать играть свою роль, давно приготовленную, давно просящуюся на уста, полную страшной и сладкой горечи... Вот они танцуют, вертятся на месте, неподвижно кружась и плывя по паркету бальной залы, и непрерывно смеясь, говорит свои комплементы Хлестаков — и заглушает на время страшный вой пропасти, зов небытия, который мы так хотим слышать...

Правильное название томика, что у меня, "Трактата о Манекенах" — Поэма.

Это имя — Бруно Шульц, — странное, как псевдоним в маскарade, — дважды запечатанное имя. Почему он, знавший правильные имена, не назвал нам свое? Но в книге он себя именует Иосифом, и тогда все становится на места, у отца его, Иакова, в Библии, ведь не было никакого иного имени. Шульц — это маска танцующего Пьеро, веселая карнавальная личина, но сквозь ее прорези смотрят на нас печальные и внимательные глаза Иосифа-Бруно.

Иаков и его сын Иосиф

"И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал (ему): отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня... И сказал (ему): отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь...

И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо *говорил* он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл; и хромал он на бедро свое".

Быт. 32. 24-31

Был ранний утренний час, когда "мой отец, уже не способный обрести сон, спускался, нагруженный книгами, по ступенькам, чтобы открыть лавку... С минуту он недвижно стоял в дверях, выдерживая с закрытыми глазами могучую атаку солнечного огня. Освещенная солнцем стена дома сладостно втягивала его в свою блаженно выровненную, сглаженную до неразличимости плоскость. На миг он становился отцом уплощенным, вросшим в фасад, и ощущал, как разветвленные, дрожащие и теплые ладони плоско зарубцовываются в золотой штукатурке стены. (Сколько же отцов вот так вросло навсегда в фасад дома в пять утра, в тот миг, когда они сходили с последней ступеньки крыльца. Сколько отцов превратились навечно в стражей собственной двери, стали рельефами в дверной нише — с рукой на дверной ручке и лицом, что сплошь растеклось параллельными блаженными трещинками, по которым сыновья любовно проводят пальцами, ища последние отцовские следы, уже навек растворившиеся в безличной улыбке фасада.)"^{8,9}

⁸Бруно Шульц. Мертвый сезон

⁹Такое же острое чувство необходимости воскрешения, восстановления отца, сохранения в мире его живого облика, как моральный императив, положил в основу своего учения Николай Федорович Федоров, великий русский мыслитель (Прим. автора)

Это история Иакова, история его единоборства с Богом и поврежденным бедром, как отметкой — история, в которой Иосиф-Бруно узнавал своего отца.

Мануфактурная лавка с нерадивыми приказчиками — все, за что осталось теперь бороться с Богом, новое поле Ханаана. Ходуном ходит эта лавка, стоит отвернуться хозяину, взлетают к потолкам веселящиеся приказчики на растянутых полотнах сукна.

"А лавка была необъятна. Она была предметом всех мыслей, ночных изысканий, испуганных раздумий отца". Он мучительно думал, как теперь вести дела, — отдавать ли в товары кредит, теряя дело, или только за наличные, разоряя людей. Вечная тысячелетняя еврейская жизнь, между лавкой и космосом, здесь на горячей земле и в мировых пространствах вселенной, но так не различима граница. Как согласовать эту мощь сотворенного мира, дарованного наследством, и жалкий удел лавочника на рыночной площади Дрогобыча? Отец "был последним в роду... на плечах которого возлежало бремя безмерного завета. Дни и ночи отец размышлял над смыслом этого завета, пытался постичь его суть". На своего сына, Иосифа, он рассчитывать не мог.

"У летних дней не бывает сумерек". Ночь падала на землю внезапно и отсчитывала свои часы, "как атомы тьмы, отторгнутые от огромной летней ночи за дверью". Она густела, становилась вязкой — эта "ночь за дверью была будто из свинца — без пространства, без дуновения, без дороги. Через несколько шагов она заканчивалась тупиком... Эта ночь никуда не вела". Но к человеку в такую ночь приходит испытать его Бог.

Бог на этот раз явился на землю в понятном для Дрогобыча виде — Он был чернородый, праздничный, улыбающийся, в образе самого Христиана Сейпеля и Сыновья (прядильные и ткацкие машины). Он теперь был могущественный демон — один из столпов Всеобщего Союза Кредиторов и никогда, с дней творенья, он не обладал такой мощью!

После долгой и трудной борьбы, в расчетах, они вышли кутнуть и, вернувшись, крепко уснули, "плывя параллельным курсом, спя наперегонки, попеременно обгоняя друг друга усердным галопом храпа". Сонный поток соединил их тела, слил незаметно сновиденья и вот, уже "сжимая друг друга в объятьях, они борются, сцепившись в тяжком, неистовом поединке... Чернородый лежал на отце, как ангел на Иакове... Так сражались они — за что? за имя? за Бога? за контракт? — боролись из последних сил в смертном поту...

Утром отец легонько прихрамывал на одну ногу. Лицо его сияло". Он был "титан со сломанным бедром".

Правильное имя Дрогобыча — Пенуэл!

А за что, собственно, боретесь Вы?!

"Среди историй, что невысказанные, теснятся у корней весны, есть одна, которая давно уже перешла во владение ночи... Каждую весеннюю ночь... идет Муж под сыплющимся на него с жерновов ночи звездным малевом, идет широким шагом по небу и прячет в складках плаща ребенка — вечно в пути, в неустанном странствии сквозь бесконечные просторы ночи. О, великая скорбь одиночества, о, безмерное сиротство в огромности ночи, о, сияние далеких звезд!

Идет этот муж и прижимает к груди ребенка... Дальние миры подходят совсем близко — ужасающе яркие, посылают через вечность стремительные сигналы в немолчающих, неизреченных сообщениях, а он идет и все успокаивает девочку, монотонно, безнадежно, бессильный перед шепотом, перед леденяще сладостными уговорами ночи, перед тем единственным словом, в которое складываются уста тишины, когда ее никто не слушает..."

Но голосов ночи он заглушить не в силах, и они проникают в сердце ребенка... Так мы когда-то стали людьми...

"Не знаю, откуда мы в детстве приходим к некоторым образам, имеющим для нас решающее значение. Они играют роль тех ниточек в растворе, вокруг которых кристаллизуется для нас смысл мира. У меня к таким относится также образ ребенка, который ведет беседу с тьмой, откуда отец несет его через просторы бескрайней ночи. Отец прижимает его к груди, укрывает в объятиях, оберегает от стихии, которая говорит и говорит, но для ребенка его объятия прозрачны, ночь достигает его, и он сквозь ласки отца слышит ее жуткие нескончаемые обольщения. И вот, измученный, полный фатализма, он с трагической готовностью отвечает на обращения ночи, всецело предавшись великой стихии, от которой невозможно убежать... Вот так в восьмилетнем возрасте я декламировал балладу Гете со всей ее метафизикой... Мне думается, весь остаток жизни уходит у нас на то, чтобы истолковать врученное, преломить его в том содержании, которое мы обретаем..."¹⁰

Иосиф...

"В любом потоке есть противоток,

И это дань истоку своему"

Роберт Фрост

"Жизнь слова состоит в том, что оно пружинится, напрягается для тысячи соединений, как разрубленное тело змеи из легенды, куски которого

¹⁰Бруно Шульц — Ст. И. Виткевичу. 1936

ищут друг друга во тьме. Тысячечастный и интегральный организм слова оказался разорван на отдельные выражения, звуки, обыденную речь и уже в этой новой форме, приспособленный к практическим потребностям, перешел к нам как орган взаимопонимания. Жизнь слова, его развитие были переведены на новую колею, колею житейской практики, подчинены новым закономерностям. Но чуть только требования практики каким-либо образом ослабляют свои житейские правила, чуть только слово, освобожденное из-под этого принуждения, оказывается предоставленным самому себе и возвращается к собственным законам, возникает обратное течение, слово устремляется к давним связям, к дополнению смыслом — и это стремление слова к праотчему истоку, его жажду возврата, тоску по словесной прародине мы называем поэзией.

Поэзия — короткое замыкание смысла между словами, внезапная регенерация первобытных мифов¹¹

Поэзия — это припоминание! — если дарована такая память и дарована смелость не отводить взгляд. В любом потоке есть противоток, как память о происхождении. Это тоненький ручеек в бурном потоке. Но он упрям, он помнит о своих истоках и к ним стремится, — только он и есть движение, остальное — смывается как вода в унитазе. За этим ручейком надо идти. Против потока, выдерживая его натиск, — но идти и, если придется, плыть.

Как верно сказал Козьма Прутков — если тебе дадут линейную бумагу — пиши поперек. Пиши, не задумываясь, — если поперек обозначенного — значит правильно!

Как он смог подобрать так слова?! Мне легко отталкиваться от него. Это практика и странность — мой текст генерируется не внешними обстоятельствами жизни, но именно высокой поэзией. Так у меня с Мандельштамом — когда читаю — делаю прямо на полях записи, и все поля там исписаны сверху-снизу. Так и здесь.

Он нащупал конец наших слов, —

"когда они становятся уже смутными, бестолковыми и невнятными. И однако, только за их рубежом начинается то, что так необъятно и невыразимо... Мистерия сумерек! Только лишь за пределами наших слов, там, куда не достигает мощь нашей магии, шумит сумрачная неохватная стихия. Слово здесь разлагается на элементы и распадается, возвращается к своей этимологии, нисходит обратно в глубину, в темный свой корень.

Когда корни деревьев жаждут говорить, когда под дерниной наберется

¹¹Бруно Шульц. Трактат о Манекенах. Мифологизация действительности

слишком много прошедшего, давних повествований, когда под корнями нагромоздится слишком много задышливого шепота, неартикулированного месива и того темного, бездыханного, что существует прежде всякого слова, — тогда... надо погрузиться лицом в эту пушистую шкуру сумерек... и вот мы внезапно у меты, по другую сторону вещей... И видим..."

"Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Неразрушаемая связь.

Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ногу,
Что от рождения чиста!"

Silentium

"Быть может, прежде губ уже родился шепот,
И в бездревесности кружились листья,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты".

Это уже Мандельштам, и трудно не поразиться путям, по которым идет поэзия и ведет к истине, и не понять, что пути науки — вне корневой основы мира.

Он знал, что слово обладает цветом. Но и грань между словами, событиями, городами, людьми — неразличима, потому что не существует. Например, слово "Гватемала" — зеленое слово, а в мае "дни бывают розовые, как Египет". Вот "дышащая свежестью лазурь и зелень, забредшая до самого предела изумления". Он знал, что мать "может объять крик своего ребенка руками, желая накрыть его, как пожар, и потушить в складках своей любви".

"На рыночной площади блеск накатывал волнами и переливался через все границы. На небе нагромождения летних облаков, клубясь, стояли на коленях под прорвами сияния, вулканические, ярко обрисованные, и — Барбадос, Лабрадор, Тринидад — все заходило красным, словно увиденное сквозь рубиновые очки, а в течение двух-трех ударов пульса, помрачений, через это красное затмение ударяющей в голову крови по небу плыл

большой корвет Гвианы, стреляя всеми парусами... Он разрастался на все небо, и во всю ширь распространялся громадный, запутанный такелаж — канаты, лестницы, прутки — и, высоко гремя распятой парусиной, раскладывался многообразный, многоуровневый воздушный спектакль парусов, рей и брасов..."

Как он мог ходить по рыночной площади Дрогобыча, когда такое творилось над самой его головой? С тех пор как закрылись глаза Иосифа-Бруно, негде больше отражаться таким облакам, и они к нам больше не приплывают.

"По мне, лучше всего читать именно так — вычитывая между строчками себя самого, свою собственную книгу. Так читают детьми. Не оттого ли те же самые книги, раньше такие сочные, со сладчайшей мякотью, потом, в наши зрелые годы, похожи на оголенные деревья с опавшей листвой — листвой домыслов, которыми латались когда-то их прорехи. Нет теперь книг, читанных нами в детстве, — облетели, одни скелеты остались. Тот, кто еще сохранил в себе память и мякоть детства, должен бы написать те книги наново, тогдашними. Был бы у нас теперь настоящий "Робинзон", настоящий "Гулливвер"¹².

Как-то вечером мальчик сидел у швейной зингеровской машинки — у меня тоже была такая машинка в доме, бабушкина, и она так же вечерами деловито стрекотала и кушала полотно материи. Была тишина наступающей ночи, и у керосиновой лампы кружили ковровой расцветки бесшумные плюшевые мотыльки. Но отвлеклась разговором швея, и теперь уже "...швейная машина стучала вхолостую, сострачивая черное беззвездное сукно, сматывающееся с рулона зимней ночи за окном". Так она соткала жизнь и книги Иосифа-Бруно — из лучшей материи мира, затканной самыми яркими звездами, — и вышла одежда для Арлекина — вот он, на сохранившемся снимке — с печальными глазами и смущенной улыбкой...

Так и я читаю, — стрекочет машинка, суетится челнок, скачет по строчке игла — слева-направо и строчкой вниз, и вновь слева-направо — но, замечтавшись, я упускаю страницу, теряю бдительность, и откинувшись на спинку стула, теряю на время зрение глаз, а иголочка уже давно убежала за белое поле страницы и бежит неостановимо по черному бархату звездной ночи, — сочиняя совсем иные слова и образы, — мои...

"Замечали ли вы, что в некоторых книгах между строчками пролетают стайками ласточки, целые строфы трепещущих заостренных ласточек? Надо читать по полету этих птиц..."

¹²Из письма Бруно Шульца Романе Гальперн от 5.XII.1936

Он был одинок, так исключительно, так чисто, что даже этот Дрогобыч был для него родным домом, где было легче. Все же здесь его знали, были знакомые. Он написал тысячи писем, из них сохранилось около 150-ти. Его адресаты были так же одиноки — Дебора Фогель, Романа Гальперн и Анна Плоцкер, и каждую из них ждала гибель в огне Холокоста.

Есть поразительная вещь — дата письма к Анне Плоцкер-Цвиллих от 06.11.1941 и дата гибели адресата — ноябрь 1941 года, когда фашистская украинская милиция устроила массовый еврейский погром в Бориславле. Немцы вошли в Дрогобыч 1 июля 1941 года, и выходит, что Бруно написал это письмо, уже будучи в гетто! Если так — письмо это надо перечитывать тысячу раз — и пытаться понять, что в нем написано, помня — нам такого не сделать!

Такой голос на краю собственной могилы, когда уже выкопана она и скользят ноги в пролитой и пропитавшей землю крови — такой голос — спокойный и ровный — в мире, в котором он был погружен — где остались только трупы и монстры — сохранить такой голос — как завещание нам, оставшимся, сберечь достоинство человека — такой голос нужно слышать и знать — и напитать им свою кровь и душу — и помнить, что мы люди, и наш удел — вся земля, завещанная нам от Первых дней!

Кадиш¹³

"Ибо под столом, который разделяет нас,
разве все мы не держимся тайком за руки?"

Как мог допустить Господь его гибель? Я второй раз так остро это почувствовал, первый, когда прочел о гибели в блокадном Ленинграде от голода и холода Адриана Франковского.

В детстве у меня была толстая с оборванной обложкой книга, Элизе Реклю, — жизнь человечества и зверей, в картинках и в гравюрах. Я запомнил картинку — я ее часто разглядывал, — на ней был изображен наш человеческий предок, и его убивал недочеловек, тот, кто оказался в тупике развития и предком людей не стал. Он убивал, не формулируя, за что, — но так же не ошибался, как и эти, убившие в тот день, 19 ноября, всех евреев в дрогобычском гетто, он чувствовал... Он правильно чувствовал — ему был заказан путь в люди, он был обречен. И мстил, и пытался себя, вот такого, спасти. Выходит, что они не вполне погибли, что среди

¹³Еврейская поминальная молитва, которую читает сын по отцу (Прим. автора)

нас, людей, они существовали и существуют, и успешно плодятся. Говорить они научились, и это их в основном заслуга — уничтожение языка и его подмена мычанием.

Это понял Господь и смешал языки строителей Вавилонской башни — он не смог выкорчевать сорняки среди людей. Это повторил заветом Иисус, галилейский плотник, сын Господен, и предупредил своих учеников о людях и о животных в человеческом облике, которых среди людей большинство, и к которым говорить — опасное и глупое занятие — метать бисер!

Сорняк устойчив, он вырастает сам, он приходит не из рук человека в почву. Его не надо лелеять и удобрять почву, и ее поливать. Он копит злобу и ненависть, — которой любовь не противопоставить, — злоба всегда жизнеспособней.

Ему, Иосифу-Бруно, всегда сложно жилось, до смерти и после.

Есть великолепные строки Александра Галича к Янушу Корчаку, с по-смертным предостережением — в Польшу не возвращаться:

"...из года семидесятого
Я Вам кричу: Пан Корчак,
Не возвращайтесь — Вам страшно
Будет в этой Варшаве.
Землю отмыли добела,
Нету — ни ровов, ни кочек.
Гранитные обелиски
Кричат о бессмертной славе,
Но слезы и кровь забыты!
Поймите это, пан Корчак,
И не возвращайтесь — Вам стыдно
Будет в этой Варшаве.

Дали зрелищ и хлеба,
Взяли Вислу и Татры,
Землю, море и небо —
Все, мол, наше, — а так ли?
Дня осеннего пряжа
С вещим зовом кукушки —
Ваши? — Врете, не ваши!
Это осень Костюшки!

Небо в пепле и саже
От фабричного дыма —
Ваше?! — Врете, не ваше!
Это небо Тувима!
Сосны, гордые стражи,
Там, над Балтикой пенной —
Ваши? — Врете, не ваши!
Это сосны Шопена!

Не возвращайтесь в Варшаву —
Я очень прошу вас, пан Корчак! —
Не возвращайтесь. Вам нечего
Делать в этой Варшаве.

Не возвращайтесь в Варшаву,
Я очень прошу вас, пан Корчак!
Не возвращайтесь — Вы будете лишним
В вашей родной Варшаве..."

Я, пан Шульц, Вам неизвестный, потому что родился, когда Вы уже нас покинули, — я очень прошу Вас, пан Шульц, не возвращайтесь! —

Вам нечего делать в родном Дрогобыче, где разрушенной стоит единственная уцелевшая синагога и нет памятного знака над местом, где лежит ваше тело вместе с 274-мя, убитыми тогда вместе с Вами...

в Галиции, где нет памятных знаков во всех городах и местечках, где убивали евреев, а их убивали везде, и где уничтожены или вскоре будут навсегда уничтожены все еврейские кладбища, а плитами надгробий будут вымощены скотные дворы и тротуары...

в Польше, куда они предлагают вернуться только Вам одному, без этих 4-х миллионов, ушедших дымом в небо Освенцима, и без тех немногих, уцелевших, кого они потом выгнали из родных домов в нашей Польше, —

Не возвращайтесь, прошу Вас!

На земле живут люди, и Господь этого не говорил — о границах и нациях... Оставайтесь с нами! — среди людей! — поляков и евреев, украинцев и русских, немцев и австрийцев — среди тех, кому Вы нужны!